

Публицистика



ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

ЧТО ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ?

МОЙ МАНИФЕСТ

Сейчас среди молодых и не в меру честолюбивых писателей принято заявлять манифесты. Только я, не читающий всего, знаю с полдюжины. Есть среди них совсем срамные, любующиеся своим бесстыдством; есть грубые, «новорусские», с крутой лихостью расправляющиеся со «стариками», которые раздражают молодых уже тем, что свои книги старики не собираются забирать в могилу; есть манифесты пошлые, есть всякие. Не стоило бы обращать на них внимание, если бы на все лады не повторялся в них один и тот же мотив о смерти русской литературы. Молчать в таких случаях — значит вольно или невольно соглашаться с ним.

Не знаешь, кого больше и жалеть, когда снова и снова слышишь возвещения о кончине старой литературы и о чудесном рождении на её обломках новой, идущей в ногу со временем и цивилизацией. Ту ли жалеть, над которой торопятся возвести могильный холм, или ту, которую подают на закуску? Почему-то жалко и отвергаемую, и насаждаемую. Одну — потому что при всём своём художественном блеске она не сумела напитать сердца читателей настолько, чтобы они не путались в добре и зле, и вторую — потому что она и заведена не для питающего действия.

Да это и невозможно — расчленив литературу одной страны и одной нации, объявить её прошлое закрытым, а настоящее единственно правильным. Такие попытки уже делались после социальных потрясений. И делались они единственно из обслуживания новой социальности. Закрывали Достоевского, Лескова, Бунина, пропускали сквозь цензуру Пушкина и Гоголя, отнимали духовное слово, объявляли вражеским национальное мышление. Но нацию отменить было невозможно. Так,

вопреки всем принятым мерам, явились Есенин и Шолохов. Есенина погубили, по нынешним меркам, мальчиком, но мальчик этот успел показать себя национальным гением; Шолохова на весь мир оклеветали за то, что таким же мальчиком он написал «Тихий Дон». Как будто у русского писателя в переломные времена есть возможность возражать не торопясь. «Садовники», выращивающие новую культуру, из всех сил следили, что всходит, что лелеять и что немедленно выдирать с корнем. И надо было иметь глубокую национальную породу, вековые засе́вы, чтобы с прополкой так и не справились. Чуждое не хотело и не могло укорениться, своё не могло не давать всходы.

Уроки 20-х годов были учтены в конце 80-х — начале 90-х, во времена нового переворота.

И когда говорят о природной лени русского человека, я вздрагиваю так, будто меня ожигают кнутом: посмотрели бы вы на этого «лентяя», изнемогавшего от надсады, чтобы и государство поднять, и детей сохранить и вывести в люди. Дело не в подневольном труде... Теперь нашлись баталисты, которые и ратную службу в Великую Отечественную описывают как службу рабскую. Люди прекрасно понимали, что за Россию, за свою Россию, можно заплатить и чрезмерную цену...

Можно ли русский народ назвать народом духовным, видя его обездоленность, нестройность, порывистость то к одному, то к другому, то к небесному, то к земному, его склонность к раздорам и словно бы потребность жить на краю жизни? Если вы назовёте другой, более духовный народ, — значит, нельзя. Русский человек занят духом, то есть стал вместилищем духа, но по многосемейности своей по-разному; отсюда все его подвиги высшего и низшего порядков. Россия — страна братьев Карамазовых, издавна и до сих пор. Ни с кого в мире, я думаю, душа не требует так сурово, как с русского человека.

Отсюда, из духовного склонения Руси, и особая роль в ней литературы. Литература всегда была у нас больше, чем искусство (даже в упоминаниях она стояла отдельно и на первом месте; так и говорили: литература и искусство), и являлась тем, что не измышляется, а снимается в неприкосновенности посвящёнными с лица народной судьбы. Мы будем ещё долго спорить, кто написал «Слово о полку Игореве», но, найдись вдруг чудесным образом автор, мы бы, пожалуй, испытали разочарование, потому что он оказался бы излишней прибавкой к творению народному.

Призвание — это призванность, задание на жизнь. Шолохов, Твардовский, Абрамов, Шукшин, Носов, Белов могли иметь другие имена, но они не могли не явиться, ибо именно так наступила пора считать судьбу и душу народную. Именно они лучше всего отвечали случившимся в народе переменам. Одновременно существовала и другая, и третья, и четвёртая литература, частью полезная, талантливая и всё-таки сторонняя, но большей частью составляющая произведения печатного станка — требовательная, навязчивая, пресмыкающаяся и злая. Как всё, что не имеет чести быть родным и на этом основании требует отменить родственность. От них, от приёмных ветвей обширной советской словесности, и произошла наглая барышня, посягающая сегодня на главное место и решившая похоронить русскую литературу вовсе.

Но чтобы похоронить, надо убить. Учённые последней апрельско-августовской революцией уроки Октября заключались в том, что мало взять власть, мало запустить новую идеологию и поменять хозяина собственности — всё это было и после Октября и как из-под пальцев ушло. Надо разрушить то, куда ушло и откуда неожиданно вновь принялось взниматься совершенно забытое и отменённое русское мышление.

Тысячелетняя Россия оказалась сильнее — за неё и решено было взяться. А для этого поднять её из глубин наверх, встретить с объятиями, с почётом провести в Кремль и, сделав там служанкой, взяться за полное её преобразование — чтобы сама на себя не была похожа, чтобы и духу от неё не осталось. Под руку явилось самое мощное оружие «перековки» — телевидение всеобъемлющее и бесстыднейшее.

Подняли из укрытия национальную Россию, ограбили и раздели её донага — вот она, «русская красавица».

И невдомёк им, лукавцам (а часто и нам невдомёк), что это уже не так, что, не выдержав позора и бесчестья, снова ушла она в укрытие, где не достанут её грязные руки.

И когда принимаются уверять с наслаждением, что русская литература приказала долго жить, — не там высматривают нашу литературу, не то принимают за неё. Она не может умереть раньше России, ибо, повторю, была не украшением её, которое можно сорвать, а выговаривающейся духовной судьбой.

Не она умерла, а мертво то, что выдаёт себя за литературу, — приторная слащавость, вычурная измышлённость, пошлость, жестокость, рядящаяся под мужество, физиологическое вылизывание мест, которые положено прятать, — всё, чем промышляет чужая мораль и что является объедками с чужого стола. Таким обществом наша литература брезгует, она находится там, где пролегают отечественные и тропы, и вкусы.

Сейчас не требуется писать много. Приходится признать, что читать стали в десятки раз меньше, чем десять лет назад. Это объясняется и бедностью, когда от куска хлеба не удаётся урвать ни копейки на книги, и дурным качеством навязываемых книг, и невольной виной каждого за попускание злу. Попустила читающая Россия, и теперь, отворачиваясь от лжеучителей, она отвергает и кафедру, к которой они выходили. Кафедра (назовем так литературу) допускала разные мнения, но неречивость в переломные моменты способна восприниматься только с одним знаком. Чтобы вернуть доверие к литературе (а это пришлось делать и после революции 1917 года), писать надо так, чтобы нельзя было не прочесть, подобно тому, как нельзя было не прочесть «Тихий Дон». Наступила пора для русского писателя вновь стать эхом народным и не бывавшее выразить с небывалой силой, в которой будут и боль, и любовь, и прозрение, и обновлённый в страданиях человек. К нашим книгам вновь обратятся сразу же, как только в них явится волевая личность, — не супермен, играющий мускулами и не имеющий ни души, ни сердца, не мясной бифштекс, приготовляемый на скорую руку для любителей острой кухни, а человек, умеющий показать, как стоять за Россию, и способный собрать ополчение в её защиту.

Россия — многонациональная страна. Я говорю о русской литературе по праву русского писателя, ни на минуту не забывая при этом, что российские малонациональные, в сравнении с русской, литературы, какую бы роль они на себя ни брали, имеют схожие беды и задачи. Не надо забывать и то, что все революции с чужим душком имеют антинациональную направленность, для России — ступенчатую. Наша нравственная грамота до таких истин не доходит, а грамота политическая и властная во всём мире их скрывает.

Литература может многое, это не раз доказывалось отечественной судьбой. Может — худшее, может — лучшее, в зависимости от того, в чьих она руках. Но у национальной литературы нет и не может быть другого выбора, как до конца служить той земле, которой она была возвращена.

1996 г.

Не для упреков и предъявления счёта, а только для того, чтобы проследить, как это происходило, и прикинуть, пойдёт ли куда-нибудь дальше, не пора ли поставить на славянском вопросе крест, и возвращаемся мы к этой теме. И хотя ныне более кстати писать повесть, со слезами смешанную, о разорении и разделении русской земли, искать меры для спасения оставшегося, а не предаваться на пустом, в сущности, месте, более того — на пепелище славянским грёзам; но ведь там, на пепелище, впервые и решается, строить ли новый дом, а если строить, повторять ли его в прежних формах или искать для прочности другие. Славянские мечтания, быть может, и всегда были беспочвенны, но, во-первых, вреда никому, кроме нас, они не принесли, а во-вторых, поздние старатели славянского дела прекраснодушием и в прежние времена не страдали и смотрели на вещи куда как трезво.

Вспомним Ф. М. Достоевского, его «Одно совсем особое словцо о славянах» из «Дневника писателя», сказанное в разгар Балканской войны. Русское войско мёрзнет, голодает, льёт кровь в боях с турками за освобождение «братушек», Россия охвачена сострадательным и жертвенным настроением к ним, чувством материнским, во множестве раздаются устные и печатные речи, что наконец-то маленькая, исстрадавшаяся в неволе Болгария присоединится к другим славянским народам и прильнёт к родственному могучему телу России, воспользуется после войны её мирным покровительством и явится в мир в красоте и простоте своего воспрянувшего славянского сердца. Словом, Россия пребывает в энтузиазме от своего подвига заступничества и открывающихся перед славянским миром перспектив, а Достоевский в это время пишет:

«...по внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными...»

«...начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны, ни малейшей благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, и не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабождении славян видному, хитрому и варварскому великорусскому племени...»

«...даже о турках станут говорить с большим уважением, чем о России...»

«...Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации...»

«...славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-нибудь в своём славянском значении и своём особом славянском призвании в среде человечества. Между собой эти племена будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать...»

«...России надолго достанется тоска и забота мирить их, вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае...»

Великий наш писатель как в воду глядел. Были и подозрительность, и ненависть, и предательство по отношению к России вскоре же по заключении мира, и редко утихал «домашний старый спор славян между собою», и меч после убийства в Сараеве пришлось обнажать — и слишком дорого стоил России этот вынутый меч. А в наше время и до того добралось, что бывшие турецкие славяне неприкрыто стали вздыхать о турках, а немецкие славяне — о немцах, посылая проклятия освободителям. И в этом не ошибся Достоевский. Его «прорицания», правда, относились к «внешним» славянам, даже и он не мог предвидеть того, чтобы принялись с невиданным азартом рвать друг с другом славяне «внутренние», находившиеся в границах Российского государства. Достоевский отдавал распрям и непониманию не менее века, может быть, чуть более до необходимого согласия в семейном кругу, в который придётся славянам сойтись как волею судьбы, так и по родственному чувству. Сроки эти теперь миновали, но никогда ещё славянство не было так далеко друг от друга, так друг к другу нетерпимо, и никогда ещё, за исключением кратковременного послереволюционного периода, сама Россия не падала так в своём политическом и нравственном значении, как теперь. Она попросту рухнула всей своей огромной тяжестью, и прежде азиатской подкосилась под нею славянская опора, та самая, на которую был первый и главный расчёт и которая составляла праматеринские начала России. В сущности российские славяне — это один народ, народ русский, разлучённый историческими обстоятельствами в старые времена на три части и в разлуке наживший различия, давшие основание называться Малой, Белой и Великой Русью. Но — Русь, с единым телом, единой душой и сердцем, сращённость которой могли взяться проверять только враги её. И прежний разрыв был неестественным, что-то вроде сиамских близнецов о трёх головах, но когда теперь с утроенной русской удалью принялись топором кромсать по живому — и одно сердце на три части, и одну душу на три части, это уж совсем конец славянского света. Куда уж там простирать руки к двоюродным и троюродным братьям, к балканским западным славянам, если единоутробные не могут ужиться! О каком вести теперь речь духовном объединении, о цивилизации, о тёплом православном домостроительстве, которые славянство могло предложить миру, если и разделённого меж собою в религиях Христа не перестают они делать орудием мести! Если снова вернулось средневековье с варфоломеевскими ночами и феодальной чересполосицей, а чрезмерное и силовое деление национального, народного ядра приводит к тем же результатам, что и ядра атомного; если, как никогда, славянство раздражается межрелигиозными, межнациональными, межрегиональными и прочими межами, каких немало, и если Югославия с одного конца, а Россия с другого стали образом воюющего самого с собой славянства! Оно сейчас доставляет миру больше всего хлопот. Чужие живут дружнее, чем свои. А коли так — не лучше ли навсегда похоронить упования на него и окончательно освободиться от последнего в свете рабства — рабства племенных предрассудков, предложить человечеству не сердце и душу, которые мы долго готовили, но так и не сподобились дать, а голову и руки функционально среднедостаточного гражданина мира. И хотя за славянина в мире по-прежнему дают не густо (Гегель сказал, что «всё человечество делится на людей и славян»), да ведь нам не до уважения, не до жиру — быть бы живу. На взгляд цивилизации, мы всё ещё недоросли, увязившие своё культурное, хозяйственное и политическое развитие в тех местечковых болотах, что давно ею пройдены, и питающиеся остатками с её пиршественного стола. Так не пора ли отказаться от всяких сдержек роста и прежде всего от национальных и религиозных колодок?! Всё должно

быть общим, взаимопроникающим и проникающим, никакой частной собственности на веру и призвание. Пусть, как предлагал Вл. Соловьёв, в православии будет католичество, а в католичестве православие; пусть, как предлагают ныне, иудаизм соединится с христианством; пусть русский не знает себя как русского, серб как серба, а татарин как татарина; пусть в России будет Америка, в Китае Турция, на Украине Германия — и всё это пусть сливается, обнимается, перемешивается и перевивается до полного подобия в последней молекуле и атоме, без всякой особицы, способной вызывать рецидив розни.

Я даже не знаю, есть ли тут, в этой картине, утрирование ведущегося дела... Возможно, нет; что-то в этом роде и предлагается как средство от человеческой бестолковости во имя гуманизации нашего брата. Нравится оно кому-то или нет, это месиво и варево, но оно мало-помалу сливается в одну посудину, и новый порядок вещей по исправлению мироустроительного волюнтаризма Всевышнего взял курс и не собирается с него сворачивать. Нечего в таком случае спрашивать с разбегающихся в разные стороны от своего ветхозаветного очага славян, они правы, одними из первых бестрепетно шагнув навстречу судьбе. И даже не вяжущиеся, казалось бы, с этим курсом вспышки национализма, фанатизма, сепаратизма и всяческого другого эгоизма, которыми издёргивается в последние годы планета, объяснить несложно. С одной стороны тут результаты всё той же политики «разделяй и властвуй», с основания мира не подводившей исполнителей, а с другой...

Есть тут, кроме того, ещё одна, не извне, а изнутри народов поднимающаяся причина, причина психологического свойства: всё более растущее беспокойство от приближающейся опасности, которую народы не в состоянии распознать и по тревоге слепых своих вождей принимаются искать близ себя. А близ — сосед, с кем столетиями делились и хлеб, и кров, и удачи, и беды, с него и взыскивается в ярости за недостигнутое счастье. Связывавшие их тесные узы не то что забываются, а выворачиваются наизнанку, представляются узами рабства. И — пошла карусель, нередко кровавая. В качестве подзащитной имеется в виду не только одна Россия; стоит оглянуться вокруг, чтобы увидеть всполохи междоусобья и на арабском континенте, и на американском, и на европейском. Но и Россия тоже имеется в виду. Ей сейчас достаётся как не больше ли всех. Приходится признать, что, если бы не прежние враги России, удерживающие поводки, прежние друзья постарались бы загрызть её, поверженную, насмерть.

* * *

Первая реакция: незачем и дружбы искать с теми, кто не способен ценить родства и дружбы. Русские могилы по всей Восточной и Южной Европе свидетельствуют, как не жалели мы живота за други своя. И всюду почти, где засеяны русские кости, всходы их теперь выпалываются и вытаптываются. Впрочем, нет, не всюду: в пограничной Австрии, к примеру, находят нужным чтить память и памятники погибшим в войне с Гитлером Иванам да Алёшам, а в единокровной Чехословакии ни знать, ни помнить о них не хотят, вокруг стоящего «над горою Алёши», в «Болгарии русского солдата», полыхают страсти, от которых, вероятно, справедливее было бы избавить и застывшего от боли Алёшу, и некогда самых близких наших братьев. И хотя к месту и не к месту на ломаном и ломаемом русском языке повторяется сейчас «была без радости любовь, разлука будет без печали», — что до нас, есть и печаль, и горечь, и

боль, потому что то, что было, было больше, чем любовь по чувству. А что испортило это бывшее, в том следовало бы разобраться не аргументами желудка и витрин.

В самом деле, для чего веками городился славянский огород, на который шла уйма жизней, средств и ума и который ни к чему не привёл да и не мог, по заверениям его противников, привести ни к чему толковому? Напротив, считали они, нужно для исторического благополучия разгораживаться, выходить на свежий воздух обновлённого мира без всякого остатка и зауголья, становиться в ряд его могучих производительных сил, подрастать под его стандарт, освобождаться от предрассудков захолустья, от затхлости национального бытия, рапрямиться во весь свой рост, а не прятаться под истлевшую тень предков, живших по археологическим понятиям и законам.

Сторонники «огорода» стояли на том, что да, замкнутость в пределах нации и государства вредна, как и всякое чрезмерное затворничество, но ещё вредней и опасней выносить национальные качества, никому, кроме носителей, не нужные и не подходящие, на мировую ярмарку, где за них не дадут и ломаного гроша, а народ от них оголят и выпотрошат. А потому выход не в крайностях, а посредине — в организации духовного союза народов, семейственных по вере, языку и происхождению, для защиты и приумножения (и обмена с другими) вверенных им лучших даров. Как для государства необходима вооружённая армия для защиты внешних границ, так нация вправе озаботиться охраной внутреннего благополучия, связывающего её в одно целое. Вышедшему не поодиночке на мировую ярмарку, а дружно и вместе на сцену жизни славянству будет легче сказать своё слово и показать своё дело. Это и не обособленность, но и не исход, не отрыв до безотечественного существования, до духовного оборотства; это необходимое принятие мер для самобытной и независимой жизни, мировое деление на собственной почве. Но главное, это решение нравственной задачи, выраженной в завете: возлюби ближнего своего, как самого себя, ибо в государственном масштабе этот завет без корысти никогда не исполнялся.

Человечество — единый организм, говорит одна сторона, и каждый народ в нем — только орган, выполняющий определённую функцию, только часть целого. Мы все созданы из одних и тех же начал для одной и той же цели — для поддержания жизни организма. И если какой-либо орган захочет обособиться, он подорвёт работу целого и поставит себя в роль его врага. Человечество всегда сильнее народа, оно выстоит, а народ, противопоставивший себя человечеству, отомрёт.

Именно, именно, организм и органы — соглашаясь, возражает другая сторона. И каждый орган выполняет свою особую, автономную работу. Ни один из них не может быть лишним, и ни в одном из них нет ничего лишнего. Каждый находится на своём месте и в своей среде. Всё тончайшим образом соединено, взаимообусловлено, сопряжено в одну упряжку, тысячу раз уточнено и взвешено. И если сердце перегоняет кровь, оно не станет вмешиваться в работу лёгких на том основании, что оно якобы цивилизованнее своего соседа по грудной клетке, и поэты, кроме перегонки крови, воздали ему хвалу быть органом любви. Любовь любовью, занимайся ей по совместительству, а насос должен работать. Так и печёнка не пойдёт устраивать ревизию селезёнке. «Взаимно» исключает всякое «помимо», всякое вмешательство в чужую функцию.

Кроме того, продолжает эта сторона, в организме родственные органы соединяются в системы — кровеносную, нервную, сердечную, мозговую, дыхательную и т. д. Позвольте славянской семье быть одною из них. Тою, которой она соответствует и

которую она выполняет и без вашей резолюции. Не упорствуйте назвать своим именем существующее. Если человечество — универсальное целое, стремящееся быть солидарным целым, то семьи народов — уже готовые для строительства блоки, соединённости которых следует лишь радоваться. Задача человечества этим облегчается, важно дать им место по призванию, а не подозревать в преступной клановости. Не будь семьи в обществе, управлять им, воспитывать и облагораживать его, подвигать к служению во благо имена сделалось бы намного затруднительней, если вообще возможно без принуждения. И великое из чувств — любовь — стало бы без семьи беспризорным и одноклеточным. Без семьи все основания общества пришлось бы менять. Почему же такое раздражение вызывают семьи народов в человечестве?

Человечество изначально, как только оно осознало себя в человеке высшей формой жизни на Земле, принялось, в свою очередь, за высшую организацию жизни — подхватывают старый спор нынешние мондиалисты. Со времён Римской империи, а может быть и раньше, оно начало всемирное нравственное, культурное, экономическое, политическое, религиозное объединение на принципах универсальности. Это было и остаётся целью человечества. Тот мир, который вы видите перед собой, плох он или хорош, есть результат этой цели. Работа не закончена, вокруг строительный мусор, беспорядок, но в успехе нам отказать нельзя. Не забывайте, что нам пришлось надолго задержаться: все последующие после Рима империи, заражённые сомнением, все века, вплоть до Просвещения, объятые фанатизмом, были отступлением от цели, и только последняя цивилизация позволяла предложить и утвердить такие права и свободы, которые решительно двинули нас вперёд. Безобидный с виду Славянский союз (он пополнит теперь славянские предания) был бы проявлением племенного эгоизма и потому входил в противоречие с общечеловеческой задачей. Разве не помните вы слова Сенеки: «Должно находиться в общении любви со своими, за своих же почитать всех соединённых человеческой природою». Мы все братья, все близки или далеки ровно настолько, насколько позволяют нравственные правила и юридические нормы. Разве нельзя любить человека и сострадать ему только потому, что он человек. Пусть особи и виды остаются в животном мире, человечество их пережило.

Оставим пока за оппонентами последнее слово и посмотрим наконец, вокруг чего же городился славянский огород, сравним его с выгороженным бастионом по результатам Второй мировой войны и попробуем догадаться, где бузина, где Киев и где дядька. Без разгона не взять.

* * *

Почти весь XIX век Россия прожила под знаком Восточного вопроса — вопроса, связанного с освобождением православных заграничных славян. Это стало её главной духовной и исторической задачей во внешней политике. У нас на памяти последнее, самое решительное действие — война с Турцией 1877—1878 гг., которая велась ради вызволения болгар, но расшатывать Османскую империю и отрывать от неё православные куски Российская империя начала значительно раньше. Девять раз воевала Россия с Турцией, и всякий раз не без участия православных интересов. В двадцатых годах получила независимость Греция, затем Румыния, Сербия, Черногория и, наконец, Болгария. Притом общество, в XIX веке уже ревнивое к походам вовне, эти войны не только оправдывает, но ещё и подталкивает к ним правительство. Крымская кампания, закончившаяся печально благодаря европейскому десанту, и начиналась,

верно, без той популярности, которой вдохновлялась война 70-х годов, но оправдывалась теми же задачами. И вступление России в Первую мировую войну осенялось славянским духом. «Собственные» славянские земли, бывшие собственностью Киевской Руси и потерянные в татарское время, земли также единоверные (Галиция, Волиния), претерпевающие за веру в католической среде больше, чем южные славяне в исламской, — даже они не вызывали тогда такого радения, как славяне балканские. Дело тут, разумеется, заключалось не в одной лишь сердечной привязанности, но и в доступности: Османская империя слабела, и, если бы не поддержка Европы, боящейся усиления России, Балканы могли бы разогнуться раньше. Ну а с западными славянами (имеются в виду единоверные из Киевской Руси), чья судьба жестоко, забрасывая из государства в государство, от власти к власти, и которым случалось быть игрой и российской политики, — с ними было то, что называлось: видит око, да зуб неймёт, — и вопрос с ними, как и с иноверными славянами, перенёсся в XX век. Вообще славянский узел настолько запутан и столько обрывков понавязано в нём, что не здесь и не нам вытягивать его хоть в сколько-нибудь стройное повествование. И больных мест в нём столько, что не наахаешься. Польша, Литва, Венгрия, Румыния, Австрия, Германия — через чьи руки только не прошли исконные земли старой Руси, кто их только не давил, не искоренял веру и русский дух, не совращал и не отвращал от бывшей Родины! Многие ли из нас знают, к примеру, о лемках, ветви русского племени в Карпатах, или о Хромщине, Ярославщине, оставшихся в Польше. Нет, лучше не начинать. Не будем касаться и разделов Польши, политики Александра I на Венском конгрессе после победы над Наполеоном, политики, как считается, упущенных возможностей по отношению к старым русским областям — история в конце концов всё расставила по местам, чтобы затем снова запутать. А посмотрим лучше, что это за пугало такое — панславизм, почему в одних до сих пор он вызывает тоску, в других — полное неприятие? Что это за вынашиваемый в общественных кругах славянский империализм? Не то же ли самое здесь, что и со многими другими значительными идеями прошлого, обросшими непониманием, домыслами, умыслами, нарочитыми искажениями — и до того, что только под замок их с грифом: «Осторожно: яд!»

С началом освобождения балканских славян возник вопрос, вполне естественный, сам собою напрашивающийся, какова должна быть роль России и быть ли ей в последующем их мирном устройстве. Вполне могло случиться так, что, выполнив освободительное задание и устранившись, Россия способствовала бы тем самым новому, лишь более изощрённому закабалению. Волей-неволей она чувствовала ответственность: или не вмешивайся вовсе, или водить дальше. Но какого рода высматривалось это водительство?

О включении в свои границы и речи не могло быть. Ни один из серьёзных славянофилов, насколько известно, такого не предлагал. Предлагалось, да и то недружно, довести давление на Турцию до взятия Царьграда-Константинополя, чтобы сделать его столицей православного мира, а сам этот мир, обладая единым духовным пространством, основывался на тесном, теснее, чем с другими, экономическом и политическом сотрудничестве, полностью свободном и добровольном.

Конст. Леонтьев разъяснял: «...для восточно-славянского мира нужно как можно менее единства государственного, политического в тесном смысле и как можно больше единства духовного. Со стороны политической желательно не слияние, но... лишь какое-нибудь подчинённое

тяготение на почтительном расстоянии, «союз государств» (какой сбивается теперь из остатков бывшего СССР. — В. Р.), а не однородное и даже не слишком сплочённое «союзное государство».

Ф. М. Достоевский:

«...у России, как нам известно, и мысли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расширять на счёт славян свою территорию, присоединять их к себе политически, наделать из них губерний и пр. Все славяне подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, ровно, как и вся Европа, и будут подозревать ещё сто лет вперед. Но да сохранит Бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам с самого начала как можно более политической свободы и устранив себя даже от всякого опекуинства и надзора над ними, и объявив им только, что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать силою это опекуинство и политическое влияние своё на славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда подозрительное».

Это мнения не только лучших мыслителей славянской идеи, но и сторонников решительных действий, настаивавших, чтобы Царьград, главная святыня православия, был наш. «Наш» — или российский (по Достоевскому), или в качестве «свободного» города «союза государств» (по Леонтьеву). Другие мнения приводить излишне, они мало что добавляют. В главном главные авторитеты Восточного вопроса были единодушны: ни подчинять себе, ни даже на какой-либо привязи держать, в том числе и на моральной за освобождение, Россия не должна и не будет. То, что называется панславизмом, имело целью духовное и нравственное усиление объединённого свойственностью славянского мира, возможность перенесения (мирного, не какого-нибудь иного) центра тяжести в Европе с католичества на православие, которое представлялось чище и любвезначительней, хоровое обрядное чувство, высвобождение заложенных в славянах культурных задатков, пособничество друг другу в этой работе. Постоять за други своя и вместе с ними углубиться нравственно и возвыситься духовно — это был род спасения души и одновременно, как казалось, исполнение хоть части своего национального призвания.

Послушаем дальше идеологов Восточного вопроса.

Конст. Леонтьев:

«Все другие державы действуют на Востоке почти исключительно одним внешним, механическим, так сказать, давлением, своею военною или коммерческой силою... Только одна Россия поставлена вероисповедным началом совсем в другие условия... Только для русской политики на Востоке возможно было до последнего времени счастливое сочетание преданий с надеждами, религиозного охранения с движением вперёд, национальности с верой, святыни древности с возбуждающими веяниями современной подвижности... Не в том ли народе надо нам преимущественно искать опоры, в котором глубже накопление православных сил, этих реальных и вовсе не мечтательных сил, до сих пор ещё и у нас столь могучих? Не с тою ли из христианских наций Востока нам следовало по преимуществу дружить и сблизиться, в которой наши собственные священные предания крепче и ярче выражены, чем в других?»

Ф. М. Достоевский:

«Опять-таки скажут: для чего это всё, наконец, и зачем брать России на себя такую работу? Для чего: для того, чтобы жить высшею жизнью, великою жизнью, светить

миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза племён, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом; вознести, наконец, всех малых сих до себя и до понятия ими исторического её призвания — вот цель России, вот и выгоды её, если хотите. Если нации не будут жить высшими целями служения человечеству, а только будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окаменеют, обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) воссоединению в великое целое. Только тогда скажет всеславянство своё новое целительное слово человечеству».

Но могли быть, вероятно, и другие интересы, стоящие на дальней повестке дня. Не напрасно полвека с лишним по начало войны 1914 года в России не уставали повторять, что русский вопрос есть вопрос славянский, а славянский вопрос есть вопрос русский. Мир не сегодня только, предавая своих учителей, свернул по следам Иуды и Каина. Сознательное нравственное искажение и духовное похолодание в ведущих осях мира почувствовалось лет за двести от нас, и нельзя было ошибиться, что это не отклонение, а уклонение, действие с заведённым механизмом. На европейском континенте обновленческий сквозняк пронизывал все без исключения национальные тела, с жадностью набросился он на жаждавших просвещения девственников, только что вырвавшихся из туретчины на простор вольной жизни, набегал, насеивая свой дух, на Россию. Или надо было принимать его, соглашаться с ним, или выстраивать линию обороны, которая в одиночку никакой стране была не под силу. Передней линией обороны географическим и веровым положением уготавливалось стать славянству во главе с Россией. История вновь требовала выхода славянства на ту же позицию в отношениях между Востоком и Западом, что и столетия назад, только теперь пришлось бы подставить под удар противоположный бок. Если в древности ценой своей свободы оно спасло Европу от азиатских орд, на этот раз Запад двигал на Восток орды цивилизаторского покорения. И опять на пути Россия со славянством. Её географическую обездоленность нужно видеть не в суровом климате и не в бедных землях — многобедное наше счастье быть Россией в том, что лежит она поперёк дороги и стоит поперёк горла вселенских интересов.

Славянство по природе своей не должно было согласиться с новым миссионерством Запада по оправданию зла. Для него это гибель. Для любого народа или семьи народов это гибель, но для славянина тем более. В его нравственном миропорядке добро и зло имеют определённые, раз и навсегда закреплённые места, и способность западного человека и в пороке выглядеть немножко добродетельным, а в добродетели немножко порочным для него непостижимое искусство. Талантом двусмысленного поведения он не обладает, он тяготеет к полюсам. Дозволенное зло стремится в славянине перейти в крайность, наша мораль недоступна так называемому консенсусу противоположностей и прямо, без промежуточных построений, с решительностью разводит их по сторонам. И если она нарушается, зацепиться не за что, падение бывает убийственным. Славянину следовало бы знать за собой эту психологическую особенность и осторожнее быть с дарами данайцев. Но он взялся принимать их с жадностью и доверчивостью, которые простительны лишь дикарям.

Россия дважды освобождала славян. В первый раз — от иноземщины, во второй, только что, — от себя. Притом в этот, во второй раз она была поставлена в безвыходное положение с самого начала принятой на себя роли суверена. Отказаться от своей зоны влияния при разделе Европы по результатам Второй мировой войны она не могла, это означало бы с первого же дня победы поставить под удар плоды такой победы, так дорого доставшейся, и позволить очередному противнику закладывать под российские стены взрывчатку. «Холодная» война, наступившая без передышки вслед за «горячей», подтвердила это. Без военного союза и экономического сотрудничества, без тесного переплетения интересов, дружности и дружинности противостоять силовым приёмам Запада оказалось бы невозможно. Для России все сорок лет с 1945-го по 1985-й были не гонкой за мировое владычество (мало кто в это верил при виде её запалённости и с тем грузом, который она на себя взяла), а борьбой за выживание и за сохранение статус-кво. Иное дело — в каком качестве, с каким лицом, во имя каких интересов, что было нахлёстывающим её всадником — истязивалась Россия выжить.

В других обстоятельствах собрание всех без исключения славянских стран под рукой России оставалось бы принять как чудесный дар судьбы и исполнение вековой мечты славянства — если бы таковая мечта в цельности оформилась и если бы исполнялась она умно и грамотно. Умно и грамотно — значит без какого-либо нажима, без навязывания своих взглядов и приёмов, не говоря уж о заблуждениях, о чём, если помните, пуще смерти остерегали цитированные раньше Достоевский и Леонтьев. То есть, ближе подводя, умно и грамотно означало — в чужой монастырь со своим уставом не ходить. Только в таком случае появлялись условия для «подчинённого тяготения на почтительном расстоянии».

Вышло же дурней и безграмотней некуда. И не могло выйти иначе. Тот порядок, который насаждался Россией в славянских странах, был прежде насаждён в ней самой и не являлся ни исконным, ни благоприобретённым её свойством. Под кожей России в изъязвлённости её плоти дышало, ворочалось и томилось иное содержание, выпиравшее даже в иную, исказившую Россию форму. Она и внутри себя боролась за жизнь и из последней мочи не давалась перерождению; обескровленная, обесточенная и исхудавшая, взращивающая в себе пожирающую её силу, она вплоть до 60—70-х годов не знала, суждено ли ей остаться в живых, и только, сходя с трудом на Бородинское поле и на поле Куликово, почувствовала приток веры и здоровья.

Но и не России, пусть и больной, наполовину подменённой, пребывавшей долго в болезненной горячке, а потом в полуобмороке, наблюдавшей в страхе и боли, как рождаются и воспитываются в нелюбви к ней дети её, как нищает земля и дух народный, будто топливный газ, собирается и перекачивается в чуждую ей энергию и как прибывает в ней беспамятная злая воля, — не России отказываться от себя и от такой. Это она попустила, всё происшедшее по грехам её... потому и не оправдывается, не закрывает глаз, не убаюкивает совесть ссылками на неблагодарность и несправедливость, когда слышит проклятия в свой адрес. Заслужила. И не заслужила, должно быть, любви и доверия, к которым готовила себя, не сумела выработать притягательности к себе, которая заставляет тянуться без выгод и подмены из одной только потребности в её близости. Не заслужила. Громыхая идеологическими кандалами, вьёвшимися в кожу, она не могла оставить их за домашними стенами, шагая вовне, и,

спелёнутая чужим обрядом, не могла скинуть его с себя, как предмет туалета, чтобы одеться приличней. Она шла со всем тем, что имела и чем была в достоинстве своём и безобразии. Когда требовалось воевать и умирать, всякое лыко шло в строку достоинств, но теперь, с наступлением времени греметь обличениями и прощениями, всё с такой же решительностью отнеслось в ней к безобразиям.

Она была с самого начала, от самой выигранной ею войны в проигрышном положении.

А если бы не была она в проигрышном положении и не поддерживала это проигрышное положение в лагере своих союзников по миру, а, напротив, была бы в положении крепком и бодром, без того, разумеется, удовлетворения, которым блещет Запад, но всё-таки есть что к требованиям взыскательной дружбы предъявить — могла бы такая крепкая, самодостаточная, взявшая правильный курс Россия удержать подле себя славянство?

Не стоит строить иллюзий: не смогла бы. Дух сегодня сильнее крови и прещения сильнее обетований. А поперёд духа церковного приходится ставить дух времени, исповедующий материальное поклонение. Как Россия не соответствовала СССР, будучи только сердцевиной её и скрепой, так и понятие славянства мало соответствует тому разнородному, разнохарактерному и разноисповедному собранию, имеющему, кажется, лишь более или менее единое географическое днище. Заветов предков, давших им эту землю и эту кровь, они не соблюли и единства не сдержали. Единство превратилось в сброшенную шкуру далёких обетований, истёртую и издырявленную о камни истории. Куда денете вы окатоличенную Польшу, поизнашивающую в себе славянские черты, с её вековой подозрительностью к России, какой бы она ни была... с подозрительностью, питаемой прошлым и настоящим... Как быть с иноверной Чехословакией, с её немецко-австрийской дрессированностью свысока глядящей на свою крайность — русскую импульсивность? Можно ли их примирить? Польша, по пословице, стоит беспорядком, Чехословакия не стоит без порядка, Россия потеряла почву, на которую можно вернуть порядок, Болгария никак не разберётся, кому отдать руку и сердце, чтобы в качестве приданого ей был предложен порядок... Существует ли в мире порядок, способный собрать их вместе? Сербия с оружием в руках защищает православие против папской Хорватии, Украина униатская и Украина православная штурмом берут друг у друга храмы для возношения молитв ко Христу, у Русской церкви зарубежные соотечественники требуют задним числом мужества против коммунистического ига... Есть ли сила, способная снова сбратить их? Где она? Что она? А может, рознь и была дана как закваска для замеса славянской крови? И загадочная славянская душа — не лепилась ли она по образцу яблока раздора?

Об этом невольно задумываешься, переживая славянский раскол, казалось бы, неделимого целого внутри страны. Страна эта, чтобы не ломать язык аббревиатурой, по роли и по весу называлась в совокупности Россией, и, надо надеяться, не от ревности к названию внутреннее славянство решило расплеваться с собственно Россией.

Это и вовсе трудно принять. Скорбь, и верно, велия. Можно выстроить неряшливую и злую фигуру раскола, как это делают самостийщики, из того дреколья, с которым хоть сегодня в битву, — из зависимости, несамостоятельности, культурного теснения, невозможности плодоносить и выражать себя, то есть из всяческого подневолья, при котором нет и не станет свободного дыхания. А ещё — насильственного обрусения, общинности, при которой один с сошкой, а семеро с ложкой, из неповоротливости огромного государственного механизма и заскорузлости его мышления,

из неспособности собственно России к демократии, а следовательно, и непопутности с нею. Кроме «союзных», в расхождении высматриваются и мировые причины, то постороннее подваживание под залежавшуюся российскую колодину, что привело к трещинам: это и политика «разделяй и властвуй», и хитроумная игра на самолюбии, и негасимый вид изнемогающего от изобилия Запада, и вместо изживших себя лозунгов призывное: «через тернии отделения — к звёздам свободного неба»...

И до того нагрели атмосферу, что во всех бедах оказался виновен проклятый москаль...

С кого взыскуете, братья, или как вас теперь называть? Разве не Россия (теперь надо вести речь о собственно России) изнывала вместе с вами под одной уздой и разве не она в первую очередь принимала на себя удары, потому что вы худо-бедно оставались под охраной национальной попоны, а с неё, считающейся коренником, сволокли всякую защиту? Разве не вместе вы отдавали дань и душами человечими, и богатством природным и товарным, и рукодельем и умодельем своим, и верой и традицией народными, а Россия больше всех: оторвав от родной почвы её, легче было оторвать и вас. Разве не одной терпью терпели вы духовное бесчестье и материальные нехватки, и разве Россия и здесь не была впереди? Разве Чернобыль, этот символ возмездия, не носил в имени своём общее наше слово, и разве смертоносный пепел Чернобыля обошёл Россию? Или тот язык, который теснил мову, был русским? Неужели не знаете вы, что нет у русских такого языка и создан он совместным нашим безродством для обозначения безродного же политического и социального имущества. Так же, как над мовой, это новоречие издевалось и над русским языком, языком Пушкина и Тютчева, Тургенева и Лескова, Толстого и Бунина, Гоголя и Чехова, Шмелёва и Ильина, вытравливая в нём трепетность, чуткость, звучность, точность, глубину, самородность и облик несущего его народа. Неужели забыли вы, что, когда русские писатели-деревенщики достали этот язык из бабушкиного старья и вынесли читателю, над ними измывались так же, как и над вашими письменниками?

«Москали», «москальство» — кривитесь вы вслед нам, как врагам своим. Нам не впервой слышать такое. Разве далеко обращаться за памятью о Киевской Руси, откуда разошлись мы на три стороны с одним и тем же лицом и языком, и разве только с возвращения от Литвы и Польши начинается ваша народность? Разве не такова степень сродства и сродства меж нами, что дальше некуда, и ненавистный вам теперь «москаль» — часть ваша, хотите или не хотите вы это признать, а вы — наша часть и давняя наша боль, всегда искавшая воссоединения с вами. Мы и в неволе оставались сообщающимися сосудами и чувствовали единородность. Только заносчивость может предъявлять к нему требования, выискивая отдельное благо; ваши предки, претерпевавшие за русскость и сохранившие её, при возвращении на родину шли не за выгодой, а для исполнения общих наших обетов. Когда не твёрдость их и не верность Руси, быть бы вам сегодня диалектами польскими и австрийскими.

Прекрасно ведали они, предки наши, что привело наши выи под ярмо... Если теперь вы ищите вместо грубого, натёршего вам шею хомута, хомут лёгкий, удобный, расписанный латынью, — воля ваша, не нам предлагать выход закусившим удила. Однако перед тем как окончательно расходиться, справились бы вы у своего прошлого об ожидающем будущем. Не дай Господь! — но то, от чего уберёт бы вас Он, вы упрямитесь взять сами наперекор Его воле. Вы не вняли мудрым и с нашей стороны, и с азиатской, и со своей, что Россия как государственная целостность, которую и вы составляли, нерасчленима, что лежащая на сгибе Европы и Азии, она есть живая,

сросшаяся воедино ткань, всюдно переходящая друг в друга и друг друга содержащая, что нет в ней столько начал и концов для разделительных линий, сколько народов в ней... жили они и дальше жили бы, не зная соблазна самовсебячивания, мало-помалу умудряясь, вработываясь в безнадсадную ровную жизнь в обновлённой России, когда бы не эта свистопляска...

Мы не виним вас в ней; что толку искать виноватых, если виноваты все — и кто начинал с умыслом, и кто поддерживал по недомыслию, и кто сопротивлялся с оглядкой и вялостью, и кто устранился совсем. Нет безвинных в разрушенной своими руками стране. Но мы вправе были ожидать от вас не ругательств, а хотя бы сожаления о мучениях, на которые обрекаем друг друга разрывом, и не обвинений в исторической никчемности, а мирного «прощай».

Ищущие себя, не могли вы не знать и, должно быть, только отмахивались от стоящей впереди перспективы, она, казалось вам, со временем снимется как-нибудь сама, — ищущие себя, вы сделали решительный шаг к тому, чтобы себя потерять.

* * *

Славянское самоедство, всё более усиливающееся, неумение прийти к согласию даже в роковые моменты истории, болезненное соседство, вечные «Балканы» с их неостывающей возгораемостью — всё это, кажется, не может не свидетельствовать в пользу прибрания мира под одну власть. И не может не способствовать этой задаче. Войска ООН, забрасываемые, как пожарники, для тушения конфликтов то в одном месте, то в другом, а сейчас и на Балканы, — это утвердившееся начало действий единого мирового порядка. Международный Валютный Фонд, разгораживание Европы, готовящаяся в ней единая валюта, транснациональные корпорации, коллективно принимаемые решения, кого казнить и кого миловать, расходящийся по свету единый вкус, единая культура, единые политические, экономические и образовательные учреждения, единые болезни и единые шутки, единые приёмы воздействия на сознание — это решительный пошив формы универсального образа жизни.

Он имеет легион сторонников, притом из самых активных делателей жизни. Они знают свою цель, на пути к цели их сопровождают удачи, на их стороне психологическое преимущество движущихся вперёд. Национальные оборонцы, усмеваются они, напоминают чудака, который пытается сохранить яйцо, потрескивающее от движений цыплёнка. Это тщетные усилия — разумеется, чудака, а не цыплёнка. Или его, национального оборонца, можно ещё сравнить с хозяйчиком прошлого века, не пускающего на свою землю железную дорогу. Дорога обойдётся без его участка, а он без неё не обойдётся. Ни в какой национальной оболочке не удержать созревший плод, зачатый для всемирной деятельности.

Разве, продолжают они, Господь не призывал к созданию единого Царства на Земле? И не разъяснял Он, что в этом Царстве «нет ни эллина, ни иудея» и во всеобщем братстве сойдутся люди без всяких различий? И разве это не истина, что сохранивший душу свою для себя потеряет её, а не пожалевший отдать её за других — спасёт? Пришло время единой нивы человечества, без размежеваний, портящих труды.

«Не путайте Божий дар с яичницей», отвечают им «оборонцы». Господь призывал к Царству Божию, к Царству Правды, а не к царству права и монеты, которое насаждаете вы. «Нет ни эллина, ни иудея» для заветов Его, для принятия Его Правды и Любви, а не во имя обезличивания народов в интересах облегчения цели. У вас всюду материальные интересы, на этом строится ваше царство.

Скажите, какова теперь задача человечества, над которой вы трудитесь? Не цель, поставленная вами, а задача, идеал, грядущее утешение всех и всякого. Нет у вас, строителей мира, такой задачи. Вычерчиваемое вами сооружение будет добровольно-сгонным общежитием для облегчения управления, смирения и для поддержания авторитета. С Царством Божиим ничего общего оно иметь не может — скорее, наоборот. Но и с тем, противоположным царством, вы пока не соглашаетесь, хотя почерк выдаёт вас и Царь его живет меж вами, как равный...

Да, каждый из нас должен любить другого только за то, что он человек, такой же мытарь, страстотерпец, образ и подобие Божие. Любить не по племенным лишь чертам, а по родству землян, снискавших единую обитель. Но почему племенную любовь непременно нужно противопоставлять земной? Это опять искусственная прокладка, не пропускающая тепло, чтобы любовь переходила в любовь и укреплялась любовью. У имеющих это чувство к ближним достанет его и до дальних; разработанное на родных нивах в добре сердце не оскудеет, а только прибавится с дарением добра всякому. Мы за то, чтобы первые университеты любви и милости отрок проходил дома среди родных преданий и песен, среди родного языка, родного уклада характера и души. Чтобы было ему с чем выйти в свет, а не явиться голодранцем, чей род промотал состояние и достояние. Национальному человеку есть откуда нести ответственность перед миром.

Была бы любовь, а кому отдавать её — найдётся. Была бы любовь — хватит её на всех. Но вот признание вашего же сторонника из прошлого века, Макса Штирнера, начинавшего, вероятно, сразу со всеобъемлющей любви и кончившего так:

«Я в тебе ничего не признаю и не уважаю ни собственника, ни бедняка, ни человека — я тебя потребляю. Я нахожу, что соль придаёт моей пище вкус, и потому солю её; в рыбе я вижу питательный материал и потому ем её; в тебе я открываю способность скрашивать мою жизнь и потому выбираю тебя в товарищи. Или на соли я изучаю кристаллизацию, на рыбе — животных, на тебе — людей и т. д. Ты для меня именно то, что ты есть мой предмет, как мой предмет — моя собственность».

Этот взгляд — не издержки цивилизации, а несомое ею и ею утверждаемое содержание, всепоглощающее, в том числе и человека вместе с его любовью, и человечество с его идеалами. Чуткий к делаемому, к должному победить, автор этих слов рассмотрел его по первым признакам. И не ошибся. Нынче его слова могут повторить сотни и сотни миллионов человечества, уверовавших в непогрешимость потребительского начала.

Знобко, неуютно становится в предложенном вами электрическом тепле и механическом удобстве. Остывает Земля без любви, переведённой на расчёт. Единого бога в соединении религий вы ищите для выставления в демократическом собрании своей кандидатуры, которую и проведёте на роль Вседержителя. Это не соединение, а поглощение церквей в бездуховной утробе, алкающей новых скрижалей и заветов. И народы в стаде едином, пасомом вами, нужны вам без народности их, без отчего тепла и национального звука. Ни о каком перевесе высшего культурного элемента над низшим, как объяснялось исчезновение народов до сих пор, тут не может быть и речи, ибо вся культура ваша — сила ваша.

То берёт, то отпадает сомнение: ведаете ли вы, что творите?

«Если и все соблазнятся, но не я», — уверял Пётр и трижды отрёкся от Христа, но остался любимым учеником Его, в страданиях и унижениях бывший вместе с Ним.

Многажды отрекались вожди славянства от идеи его, отводя свои народы от врученного им семейного и общинного дела. И ни одного из этих вождей народы не восславили в своих сердцах. Поплутав в умственных настроениях, послужив своим домом в чужих гостиних, сорвав душу, возвращались обратно и с утроенной любовью жались к родным Балканам, Дунаю и Днепру. А кто оторван был силой, как на сотни и сотни лет, шёл на любые лишения и любую казнь, лишь бы остаться славянином и источать свой дух. Какая, казалось бы, разница — те же Карпаты пред ними, те же луга и поля, и могилы предков на месте, и круг родных людей, и только то одно, что жили они в отъятии от Руси, от скорбящей её материнской длани, простёртость которой натывалась на невидимую стену, не доставая до них, только это одно во все века отрыва доставляло им нестерпимые муки. Сотни тысяч сербов во Вторую мировую войну были уничтожены за православную душу, на оставленных жить, как на евреях, нашивалась или выводилась краской буква «П» (православный), что должно было отпугивать от них, как от прокажённых. Отрекитесь! — требовали, ведя на пытки и казни. Не отрекались.

Это выше нас. Это не воля наша — быть или не быть славянином. Это наша доля, вручённый нам в рассветные времена человечества духовный надел. В нашем рождении участвовали камни гор и воды рек, травы степей и клики пролетавших когда-то птиц: нас согревает не одно лишь солнце нашей жизни, но и солнце, светившее предкам и взрастившее неотрывные от нас отчины и дедины. В наших глазах, когда мы направляем их вдаль, стоят и набег степняков, и плач нанизанных на верёвку, как бусы, уволаскиваемых в полон... Всюду, должно быть, в старину было то же, но у нас по-своему, и сетчатка наших глаз отличается от других тем, как соткана была наша допрежняя народная жизнь. Мы и любили по-своему, и страдали, и плакали, и смеялись — по духу окружавших нас гор и долин.

Память наша, стоит лишь обратиться к ней, востребовать «письмецо», писанное славянскими письменами, доставит его в нетленности из таких временных угодий, что от глубины их обомрёт сердце.

Кровью полита наша земля, слезами омочена, битвами не на жизнь, а на смерть сшита, криками новорождённых и стоном умирающих подбита, песнями, сказами изукрашена... Эти боли больные и дива дивные всюду, скажете вы, на особинку. Вглядитесь в наши лица, мягких и плавных линий, — это от доверчивости, от открытости всем, от звучащих внутри памяти напевов, к которым мы непрестанно прислушиваемся. Мы всегда наполовину погружены внутрь себя, в своё, каждый из нас — маленький родник, открытый на месте глубинной жизни.

Мы не кровью гордимся, нет. Что сегодня племенная кровь, не имеющая духовного русла? Особенно в Европе, где народы принялись толочься ещё в незапамятные времена. Да ещё при судьбе, когда мы побывали под чужбиной. Такая там дружба народов, что не перечесть. И всё же она, кровь наша, остается славянской, всё же характер сберегается, потому что всё в нас пропитывается своим, руководится им и в него перерождается. «О, Славия! — восклицали наши предки. — Сладок каждый звук твоего имени!» Славянское братство называли Всеславией. Из века в век гремело: славься! славься! славься! На дорогах мира в пёстрой толпе человечества славяне узнавали один другого по лицам и обнимались как посланцы одной надежды.

Во Вторую мировую войну ни один славянский народ не стал воевать против России. И союзников своих не смели гитлеровцы отправлять на Восточный фронт. Рознь рознь, всё это минует, излечится когда-нибудь, а без России славянство осиротеет. После гражданской войны при исходе побеждённой России Сербия принимала отряды русских беженцев под печальный и торжественный звон православных колоколов: входите, братья, наш хлеб — ваш хлеб и наш кров — ваш кров. Много раз славяне приносили в жертву единство своё, но не чувство, не общее одушевление, не будущее. Оттого новодельный мир не доверял славянам и не доверяет, даже и предавшимся ему, этому торжественному огню поглощения национальных народов, что никогда не доходили славяне в расколе до конца и, расходясь, искали возвращения.

Дойдём ли до конца теперь — как знать! Можем и дойти. Недалеко. Это будет зависеть от того, спасётся ли Россия. Не устоит она — поминай как звали славян всех вместе и каждого по отдельности. Ищи догадки, для чего приходили мы в этот мир, для чего Создатель высеял нас единой горстью и, разносимых ветром, снова и снова собирал нас друг подле друга.

Не милости просим мы, но трезвости и зречести.

Ибо вопрос: что дальше, братья-славяне? — стоит: быть или не быть славянству.

1992 г.